

по насту можно пройти, я захожу в самые дальние закутки леса, навещаю всех своих леших, они сидят на белом снегу какие-то притихшие, покрывшись белыми хлопьями снега.

Проходит увлечение театром, я вспоминаю свое рисование, мне кажется, что дальше Таруса может затянуть какими-то любительскими спектаклями, я окончательно решаю все бросить и ехать учиться в Москву.

И вот опять Москва, но совершенно другая, чем та, которую я знала до сих пор. Я поступаю в Свободные художественные мастерские <...> к Петру Петровичу Кончаловскому.

Зимой 1921 года я поступила во Вхутемас. Мне нужно было пройти 12 дисциплин³⁷ и я попала в класс к Поповой и Веснину <...>

Зима 1921 года была трудная, голодная. Папа узнал, что Коровину живется плохо, и послал ему свой этюд, чтобы тот его продал себе на пропитание. Подарок этот обошелся Коровину дорого, он, конечно, его не продал, а взамен прислал папе апельсинов. Бог ведь откуда он мог их тогда достать...

Но вот я узнала, что в Третьяковской галерее выставка К.А. Коровина, устроил ее Грабарь. После 12 дисциплин во Вхутемасе я просто обалдела от этой выставки <...>

Одновременно Константин Алексеевич сам устроил свою выставку в салоне Михайловой на Дмитровке, выставку своих последних произведений. Были там все больше крымские розы.

Выставка в Третьяковке захватила меня целиком и у меня явилось страшное желание поблагодарить Коровина за его чудесные вещи. Как-то зимним утром отправилась я во Вхутемас, но меня просто воротило с Рождественки, и я пошла дальше, очутилась в Орликовом проезде, поднялась по черной лестнице кирпичного уютного дома и постучалась. Уж я не помню, кто мне открыл и что я сказала. Помню только, как выросла передо мной фигура Коровина, он держал кисточку в руке, видно, поспешил мне навстречу.

Каким красивым, добрым, ласковым и молодым представился он мне в эту минуту. Его карие глаза светлились таким мягким чарующим светом, одет он был небрежно, все было не чистое, но с удивительным вкусом. Замшевая бежевая

жилетка не первой молодости, но очень изящная, бросилась мне в глаза. Он ласково обнял меня и повел к себе в мастерскую. Я только в коридоре опомнилась, что мне надо что-нибудь придумать, почему с утра я попала к нему. Я стала говорить, что пришла на минутку, поблагодарить его за внимание, оказанное папе, и что я сейчас уйду, но он так просто и ласково открыл мне двери своей мастерской, что я почувствовала себя с ним, как дома. Мастерская его была большая комната, абсолютно пустая. Посредине стоял стол, за которым он работал, направо в углу кровать, небрежно покрытая одеялом, налево была какая-то куча, из разных вещей, очевидно, та традиционная куча, о которой мне рассказывала мама. Из этой кучи доставалось все: и краски, и вакса, и фрачная рубашка, и сапоги. Мама рассказывала, как они раз зашли утром к Коровину, он спал во фраке, и тут же отправился с ними, приведя себя в порядок тем, что он извлек из кучи головную щетку, причесал вихры, переменял рубашку и почистил сапоги ваксой — и все это находилось в куче.

Итак, Константин Алексеевич усадил меня против себя, а сам продолжал работать. Он делал маленькие картинки, на которых были изображены терраса, букет роз, за ними море и луна. Уже целая стопка однородных картинок лежала сбоку на столе, а он быстро маленькой кисточкой писал новые картинки. Точно не помню, но мне кажется, что он писал их акварелью и покрывал лаком. Помню, что блестели они здорово и букетик состоял из трех розочек, с которыми он очень быстро справлялся.

Константин Алексеевич с большой любовью стал меня спрашивать о папе. Когда коснулись его здоровья, он задумался и вдруг сказал: «В Африку ему нужно ехать!» «Почему в Африку?» — удивилась я. «Там он быстро поправится, молодым станет, в Африке все сердечные болезни моментально излечиваются, только там есть одна неприятность: человек покрывается маленькими черненькими волосиками». Константин Алексеевич очень образно, тыкая себя одной рукой по другой, показал, как начинают эти черные волосики расти на руках. «Да, да, папа совершенно изменится, — продолжал он, увле-



И.В. Поленов
Сосны
Карандаш, 1926
Москва. Собрание Е.А. Поленовой

какаясь,— на голове вырастут черные курчавые волосы, вот в этом вся беда, а то бы, конечно, ему надо было ехать в Африку!»

Это в то время, в 1923 году, когда наше путешествие из Бехова в Москву являлось целой проблемой, а уж о папином выезде за пределы усадьбы и речи быть не могло, а тут вдруг в Африку!!! Но Константин Алексеевич так просто об этом говорил, что мне показалось, что поехать в Африку совсем не сложно и что единственным препятствием являются эти проклятые черные волосики, которые начнут расти по всему телу и из седого русского папы сделают молодого курчавого негра...

Я спросила, что делает, над чем работает сейчас Константин Алексеевич, и из тех неохотных, неопределенных слов, которые он мне сказал, я поняла, что это массовое производство картинок является его основной работой в данное время исключительно для заработка.

Я стала с восторгом говорить об его выставке...

«Это о какой же выставке вы говорите?» Я по младости лет сделала нетактичность: «О выставке в Третьяковке, конечно». Он вдруг стал холодным и серьезным. «Нет, это выставка плохая, это все мои старые вещи. Грабать устроил, хотел доказать, что я больше не существую, а я ему в ответку устроил выставку в салоне Михайловой, вот это выставка, это работы настоящие».

Я продолжала делать одну нетактичность за другой, уверяя Константина Алексеевича, что розы его и голубое море, которыми были переполнены залы салона, и сравнивать нельзя с теми шедеврами, которые находятся в Третьяковке. Константину Алексеевичу, видно, было это очень больно, но он твердо отстаивал свое последнее творчество, и я только задним числом сообразила, как я его обидела. Он стал совсем грустный и какими-то полунамеками жаловался на то отношение, которое создалось к нему за последнее время в мире художественном и в мире критики. И правда, когда ему дали вести мастерскую в Свободных государственных мастерских, никто не пошел к нему учиться. Мастерская Кончаловского была переполнена, коровинская пустовала, у него было, кажется, два ученика: Вильямс и еще кто-то.

А когда открылся Вхутемас, то среди 12 дисциплин Константину Алексеевичу места, конечно, не было. Когда он узнал, что я как в аду ваюсь и поджариваюсь во Вхутемасе, он с интересом стал меня расспрашивать о моих мученьях и сам оживился.

Потом он говорил о себе: «Мне бы тоже надо было в Африку поехать, полечиться, да куда же я отсюда уеду, я же не могу без берез»,— и вдруг, откинувшись на стуле и смотря куда-то вдаль, Константин Алексеевич стал описывать русский пейзаж самый простой, пеньки да березки, в разные моменты дня и освещенья, и так живо, что все, о чем он говорил, оживало и казалось уже написанным. «Нет, куда же я уеду от пеньков да березок!»— говорил он, словно кого-то убеждая в этом.

Он говорил много, я из вежливости все порывалась уйти, и каждый раз Константин Алексеевич говорил: «Куда ты, голубушка, только пришла и уходить, нет, так нельзя».

Время шло, я пришла в одиннадцать часов, прилизительно в час нам принесли какой-то завтрак, потом в три я порывалась уйти опять, т. к. пришли какие-то посторонние люди, но слова: «Что ты, что ты, только что пришла и уже уходить, нет, так не поступают, садись, садись» — меня останавливали. Мне было с ним так хорошо, что я не возражала, и совершенно незаметно время прошло до самого обеда, до шести часов вечера, когда пришла жена Константина Алексеевича, очень сухая дама, совершенно не в его стиле, и позвала нас обедать. Какая была на редкость неудобная квартира у Коровина. Большие, высокие, какие-то казенные комнаты. Константин Алексеевич за обедом еще больше оживился, начались охотничьи рассказы и рассказы о рыбной ловле. К обеду вышел из своей комнаты сын Алеша, заспанный и какой-то скучный. Нас посадили рядом, мы оказались сверстниками. Он сообщил мне, что только что встал, потому что лег в семь утра, был у Шалапиных, где они целой компанией весело провели ночь. Спросил меня, где я живу: «Наверное, много в деревне живете, у вас такой цветущий вид». После обеда он меня пригласил к себе в комнату. До чего она не была похожа на комнату его отца. Там была

прекрасная обстановка вся из карельской березы, не только кровать, кресла, стулья, но и мольберт был из карельской березы. На мольберте ничего не стояло, и он был совсем чистенький, а на столе лежала такая же пачка картинок и Алеша, так же как отец, делал три разочки в вазочке, синее небо и луну. Он стал меня расспрашивать о том, что я делаю, он не имел никакого понятия о Вхутемасе, о 12 дисциплинах, о современных направлениях в искусстве... А его отец знал все и, может быть, болезненно, но живо относился ко всему. Мне стало скучно с Алешей и я была благодарна Константину Алексеевичу, когда он нарушил наш tête-à-tête. Он пришел проститься со мной, но я этим воспользовалась и сказала, что я пойду с ним.

Мы вышли вместе, была чудная морозная ночь, он сказал мне, что идет куда-то развлекаться:

«Вредно мне, а, да все равно!» Мы с ним горячо простились.

Через месяц я узнала, что Константин Алексеевич уехал за границу, и с грустью вспомнила его слова: «Куда же я уеду от пеньков и березок». И все-таки уехал.

Когда я потом приехала к отцу и рассказала ему о своем посещении Коровина, папа долго вспоминал и говорил о нем, что он был бы гораздо значительнее, будь у него больше выдержки. У него очень мало терпения и он не мог долго писать, все стремился скорее кончить и убрать, и папа стал делать так: он сажал Коровина рядом и они вместе писали один этюд и папа заставлял его сосредоточиться на работе. Так вместе они писали этюд «Тургенево». Этот этюд у нас сохранился до сих пор. Где находится коровинский, не знаю (<...>)

1. Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. М., 1950, с. 243.

2. Об этих же спектаклях в своих воспоминаниях другая дочь В.Д. Поленова Ольга Васильевна Поленова (1884—1973), многолетний научный сотрудник музея В.Д. Поленова и режиссер Народного поленовского театра, пишет: «Вечер, мне 8—9 лет. Это в Москве. Мы с сестрой Наташей уже лежим в кроватках. Суббота. Папа организовывал хор и по субботам устраивались у нас спектакли. Слышно, как съезжаются гости, слышен голос М.А. Олениной-д'Альгейм, которую папа как камерную певицу очень высоко ставил. Как торжественно-таинственно звучали прекрасные напевы Гречанинова, Чайковского, а особенно Рахманинова, его «Верую» с солисткой Олениной-д'Альгейм. Под эти неземные звуки тихо засыпаешь. Мусоргский, Шуберт, Шуман — Оленина-д'Альгейм первая открыла: романсы этих композиторов для русской интеллигенции.

Она пела народные песни, и особенно в нашей семье любил народную польскую песню «Еще Польша не спинала». Часто после спектакля Мария Алексеевна пела романсы, которые должна была исполнять в своих будущих концертах, и очень прислушивалась к мнению папы.

Сразу у нас появились ноты шубертских, шумановских песен. А «Трепак» из «Плоской смерти» Мусоргского на слова Голенинцева-Кутузова в исполнении Марии Алексеевны папа больше всего любил. Инструмент, на котором играл и сочинял музыку папа, стоял в крайней комнате квартиры, и звуки оттуда доносились очень приглушенно, но всегда можно узнать, в каком папа настроении. Если кто-

нибудь заболел и он волновался, то звуки всегда были грустные, а иногда он сочинял напевы для заукопной службы. Мы всегда смеялись: «Ну, папа нас опять хоронит» (Рукопись находится в архиве Е.А. Поленовой).

3. Мамонтова Елизавета Григорьевна (Алексеева, 1847—1908) — жена Саввы Ивановича Мамонтова. Организатор абрамцевской столярной и кустарно-резничной мастерской. Двоюродная сестра, Н.В. Поленовой (Якуничевой) — старшей.

4. Усадьба В.Д. Поленова (ныне Государственный музей-заповедник В.Д. Поленова), выстроенная им в 1892 году, была названа «Борок», так как Поленов заложил там сосновый бор. Но название это не прижилось и все называли усадьбу Бехово, по названию соседней деревни, где В.Д. Поленов построил церковь по своему проекту и там же на беховском кладбище похоронены он, его жена и дети.

5. Якуничев Василий Иванович (1827—1909) — отец Натальи Васильевны Поленовой-старшей. Один из строителей Московской консерватории. Скрипач-любитель. Собирал всю музыкальную Москву на домашних концертах в своем доме на Средней Кисловке.

6. Об этой лежанке младшая дочь Саввы Ивановича Мамонтова Александра Саввишна Мамонтова (1878—1952), первый директор абрамцевского музея (1918—1927), написала в юности небольшую сказку под названием «Сказка не Андерсена»: «Жила в доме бабушка и она, говоря, была душой дома. Теперь кто его душа, я не знаю и знать или размышлять о душах мне не дано. — но о духах дома я знаю, я живу среди них.

Я печка, все вижу, все слышу. Есть полезные и не полезные духи, есть постоянные и есть временные. Раньше было больше постоянных, а теперь развелись всякие.

Мое место около круглой деревянной лестницы, но я знаю все, что делается во всех углах дома и даже за окнами.

Может быть, я оттого так сочувствую нашему домовому: ведь я Врублевская лежанка... сейчас объясню вам все.

Домовой кряхтит и нелюбо ему, что не ходят часы, не топят камин, не слышно дружеских бесед, не играют на рояле, не пьют, ни в гостиной, ни в столовой, ни в кабинете бабушки — все спит там мертвым сном, а домовый любит жизнь.

Около меня серенькое существо, которое люди зовут Кошка, надоедает мне, все чавкает, все хрустит, а домовый рад и ей.

Однажды летом он был просто счастлив: мы услышали чтение такое, как он любит, читали люди такте, что еще не напечатано в книге.

Домовой слыхал от своего деда, что в доме давно прежде люди много читали и громко спорили. Очень он еще любил, когда люди красками делают много пятен на жестком холсте и получается что-нибудь еще небывалое, новое, скучает, когда нет в доме холста, красок, кистей, даже скипидара.

Еще он любит глину. Веселый наш домовый любит то, что люди называют талантизм» (Рукопись находится в архиве Е.В. Чернышевой).

7. Это место Н.В. Поленовой стала особенно очевидной, когда на выставке портрета в 1972 года в ГМИИ им.